

Александр Иванович Куприн

Штабс-капитан Рыбников



Александр Куприн
Штабс-капитан Рыбников

«Public Domain»

1905

Куприн А. И.

Штабс-капитан Рыбников / А. И. Куприн — «Public Domain»,
1905

«В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу и когда об этом кровавом торжестве японцев проносились по Европе лишь первые, тревожные, глухие вести, – в этот самый день штабс-капитан Рыбников, живший в безымянном переулке на Песках, получил следующую телеграмму из Иркутска: „Вышлите немедленно листы следите за больным уплатите расходы“...»

© Куприн А. И., 1905

© Public Domain, 1905

Содержание

I	5
II	7
III	12
IV	18
V	21
VI	25
VII	28

Александр Куприн

Штабс-капитан Рыбников

I

В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу и когда об этом кровавом торжестве японцев проносились по Европе лишь первые, тревожные, глухие вести, – в этот самый день штабс-капитан Рыбников, живший в безымянном переулке на Песках, получил следующую телеграмму из Иркутска:

«Вышлите немедленно листы следите за больным уплатите расходы».

Штабс-капитан Рыбников тотчас же заявил своей квартирной хозяйке, что дела вызывают его на день – на два из Петербурга, и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствием. Затем он оделся, вышел из дому и больше уже никогда туда не возвращался.

И только спустя пять дней хозяйку вызвали в полицию для снятия показаний об ее пропавшем жильце. Честная, толстая, сорокапятилетняя женщина, вдова консистерского чиновника, чистосердечно рассказала все, что ей было известно: жилец ее был человек тихий, бедный, глуповатый, умеренный в еде, вежливый; не пил, не курил, редко выходил из дому и у себя никого не принимал.

Больше она ничего не могла сказать, несмотря на весь свой почтительный ужас перед жандармским ротмистром, который зверски шевелил пышными подусниками и за скверными словами в карман не лазил.

В этот-то пятидневный промежуток времени штабс-капитан Рыбников обегал и объездил весь Петербург. Повсюду: на улицах, в ресторанах, в театрах, в вагонах конок, на вокзалах появлялся этот маленький, черномазый, хромою офицер, странно болтливый, растрепанный и не особо трезвый, одетый в общеармейский мундир со сплошь красным воротником – настоящий тип госпитальной, военно-канцелярской или интендантской крысы. Он являлся также по несколько раз в главный штаб, в комитет о раненых, в полицейские участки, в комендантское управление, в управление казачьих войск и еще в десятки присутственных мест и управлений, раздражая служащих своими бестолковыми жалобами и претензиями, своим униженным попрошайничеством, армейской грубостью и крикливым патриотизмом. Все уже знали наизусть, что он служил в корпусном обозе, под Ляояном контужен в голову, а при Мукденском отступлении ранен в ногу. Почему он, черт меня возьми, до сих пор не получает пособия?! Отчего ему не выдают до сих пор суточных и прогонных? А жалованье за два прошлых месяца? Абсолютно он готов пролить последнюю, черт ее побери, каплю крови за царя, престол и отечество, и он сейчас же вернется на Дальний Восток, как только заживет его раненая нога. Но – сто чертей! – проклятая нога не хочет заживать... Вообразите себе – нагноение! Да вот, посмотрите сами. – И он ставил больную ногу на стул и уже с готовностью засучивал кверху панталоны, но всякий раз его останавливали с брезгливой и сострадательной стыдливостью. Его суетливая и нервная развязность, его запуганность, странно граничившая с наглостью, его глупость и привязчивое праздное любопытство выводили из себя людей, занятых важной и страшно ответственной бумажной работой.

Напрасно ему объясняли со всевозможной кротостью, что он обращается в неподлежащее место, что ему надобно направиться туда-то, что следует представить такие-то и такие-то бумаги, что его известят о результате, – он ничего, решительно ничего не понимал. Но и очень сердиться на него было невозможно: так он был беззащитен, пуглив и наивен, и, если его с досадой обрывали, он только улыбался, обнажая десны с идиотским видом, торопливо и мно-

гократно кланялся и потирал смущенно руки. Или вдруг произносил заискивающим хриплым голосом:

– Пожалуйста... не одолжите ли папиросочку? Смерть покурить хочется, а папирос купить не на что. Яко наг, яко благ... Бедность, как говорится, не порок, но большое свинство.

Этим он обезоруживал самых придиричивых и мрачных чиновников. Ему давали папироску и позволяли присесть у краешка стола. Против воли и, конечно, небрежно ему даже отвечали на его назойливые расспросы о течении военных событий. Было, впрочем, много трогательного, детски-искренного в том болезненном любопытстве, с которым этот несчастный, замурзанный, обнищавший раненый армеец следит за войной. Просто-напросто, по-человечески, хотелось его успокоить, осведомить и ободрить, и оттого с ним говорили откровеннее, чем с другими.

Интерес его ко всему, что касалось русско-японских событий, простирался до того, что в то время, когда для него наводили какую-нибудь путаную деловую справку, он слонялся из комнаты в комнату, от стола к столу, и как только улавливал где-нибудь два слова о войне, то сейчас же подходил и прислушивался со своей обычной напряженной и глуповатой улыбкой.

Когда он, наконец, уходил, то оставлял по себе вместе с чувством облегчения какое-то смутное, тяжелое и тревожное сожаление. Нередко чистенькие, выхоленные штабные офицеры говорили о нем с благородной горечью:

– И это русские офицеры! Посмотрите на этот тип. Ну, разве не ясно, почему мы проигрываем сражение за сражением? Тупость, бестолковость, полное отсутствие чувства собственного достоинства... Бедная Россия!..

В эти хлопотливые дни штабс-капитан Рыбников нанял себе номер в грязноватой гостинице близ вокзала. Хотя при нем и был собственный паспорт запасного офицера, но он почему-то нашел нужным заявить, что его бумаги находятся пока в комендантском управлении. Сюда же в гостиницу он перевез и свои вещи – портплед с одеялом и подушкой, дорожный несессер и дешевый новенький чемодан, в котором было белье и полный комплект штатского платья.

Впоследствии прислуга показывала, что приходил он в гостиницу поздно и как будто под хмельком, но всегда аккуратно давал швейцару, отворявшему двери, гривенник на чай. Спал не более трех-четырех часов, иногда совсем не раздеваясь. Вставал рано и долго, часами ходил взад и вперед по комнате. В полдень уходил.

Время от времени штабс-капитан из разных почтовых отделений посылал телеграммы в Иркутск, и все эти телеграммы выражали глубокую заботливость о каком-то раненом, тяжело больном человеке, вероятно, очень близком сердцу штабс-капитана.

И вот с этим-то суетливым, смешным и несуразным человеком встретился однажды фельетонист большой петербургской газеты Владимир Иванович Щавинский.

II

Перед тем как ехать на бега, Щавинский завернул в маленький, темный ресторанчик «Слава Петрограда», где обыкновенно собирались к двум часам дня, для обмена мыслями и сведениями, газетные репортеры. Это была довольно беспардонная, веселая, циничная, всезнающая и голодная компания, и Щавинский, до известной степени аристократ газетного мира, к ней, конечно, не принадлежал. Его воскресные фельетоны, блестящие и забавные, но не глубокие, имели значительный успех в публике. Он зарабатывал большие деньги, отлично одевался и вел широкое знакомство. Но его хорошо принимали и в «Славе Петрограда» за его развязный, острый язык и за милую щедрость, с которой он ссужал братьев писателей маленькими золотыми. Сегодня репортеры обещали достать для него беговую программу с таинственными пометками из конюшни.

Швейцар Василий, почтительно и дружелюбно улыбаясь, снял с Щавинского пальто.

– Пожалуйте, Владимир Иванович. Все в сборе-с. В большом кабинете у Прохора.

И толстый, низко стриженный рыжеусый Прохор также фамильярно-ласково улыбался, глядя, по обыкновению, не в глаза, а поверх лба почетному посетителю.

– Давненько не изволили бывать, Владимир Иванович. Пожалуйте-с. Все свои-с.

Как и всегда, братья писатели сидели вокруг длинного стола и, торопливо макая перья в одну чернильницу, быстро строчили на длинных полосах бумаги. В то же время они успевали, не прекращая этого занятия, поглощать расстегаи и жареную колбасу с картофельным пюре, пить водку и пиво, курить и обмениваться свежими городскими новостями и редакционными сплетнями, не подлежащими тиснению. Кто-то спал камнем на диване, подстелив под голову носовой платок. Воздух в кабинете был синий, густой и слоистый от табачного дыма.

Здороваясь с репортерами, Щавинский заметил среди них штабс-капитана в общеармейском мундире. Он сидел, расставив врозь ноги, опираясь руками и подбородком на эфес огромной шашки. При виде его Щавинский не удивился, как привык ничему не удивляться в жизни репортеров. Он бывал свидетелем, что в этой путаной беспшабашной компании пропадали по целым неделям: тамбовские помещики, ювелиры, музыканты, танцмейстеры, актеры, хозяева зверинцев, рыбные торговцы, распорядители кафешантанов, клубные игроки и другие лица самых неожиданных профессий.

Когда дошла очередь до офицера, тот встал, приподнял плечи, оттопырив локти, и отрекомендовался хриплым, настоящим армейским пропойным голосом:

– Хемм!.. Штабс-капитан Рыбников. Очень приятно. Вы тоже писатель? Очень, очень приятно. Уважаю пишущую братию. Печать – шестая великая держава. Что? Не правда?

При этом он осклаблялся, щелкал каблуками, крепко тряс руку Щавинского и все время как-то особенно смешно кланялся, быстро сгибая и выпрямляя верхнюю часть тела.

«Где я его видел? – мелькнула у Щавинского беспокойная мысль. – Удивительно кого-то напоминает. Кого?»

Здесь в кабинете были все знаменитости петербургского репортажа. Три мушкетера – Кодлубцев, Ряжкин и Попов. Их никогда не видали иначе, как вместе, даже их фамилии, произнесенные рядом, особенно ловко укладывались в четырехстопный ямб. Это не мешало им постоянно ссориться и выдумывать друг про друга случаи невероятных вымогательств, уголовных подлогов, клеветы и шантажа. Присутствовал также Сергей Кондрашов, которого за его необузданное сладострастие называли «не человек, а патологический случай». Был некто, чья фамилия стерлась от времени, как одна сторона скверной монеты, и осталась только ходячая кличка «Матаня», под которой его знал весь Петербург. Про мрачного Свищева, писавшего фельетончики «По камерам мировых судей», говорили в виде дружеской шутки: «Свищев крупный шантажист, он меньше трех рублей не берет». Спавший же на диване длинноволосый

поэт Пеструхин поддерживал свое утлое и пьяное существование тем, что воспевал в лирических стихах царские дни и двенадцатые праздники. Были и другие, не менее крупные имена: специалисты по городским делам, по пожарам, по трупам, по открытиям и закрытиям садов.

Длинный, вихрястый, угреватый Матаня сказал:

– Программу вам сейчас принесут, Владимир Иванович. А покамест рекомендую вашему вниманию храброго штабс-капитана. Только что вернулся с Дальнего Востока, где, можно сказать, разбивал в пух и прах желтолицего, косоглазого и коварного врага. Ну-с, генерал, валяйте дальше.

Офицер прокашлялся, сплюнул вбок на пол.

«Хам!» – подумал Щавинский, поморщившись.

– Русский солдат – это, брат, не фунт изюму! – воскликнул хрипло Рыбников, громыхая шашкой. – Чудо-богатыри, как говорил бессмертный Суворов. Что? Не правду я говорю? Одним словом... Но скажу вам откровенно: начальство наше на Востоке не годится ни к черту! Знаете известную нашу поговорку: каков поп, таков и приход. Что? Не верно? Воруют, играют в карты, завели любовниц... А ведь известно: где черт не поможет, бабу пошлет.

– Вы, генерал, что-то о съемках начали, – напомнил Матаня.

– Ага, о съемках. Мерси. Голова у меня... Дер-р-балызнул я сегодня. – Рыбников метнул взгляд на Щавинского. – Да, так вот-с... Назначили одного полковника генерального штаба произвести маршрутную рекогносцировку. Берет он с собой взвод казаков – лихое войско, черт его побери... Что? Не правда?.. Берет он переводчика и едет. Попадает в деревню. «Как название?» Переводчик молчит. «А ну-ка, ребяташки!» Казаки его сейчас нагайками. Переводчик говорит: «Бутунду». А «бутунду» по-китайски значит: «не понимаю». «Ага, заговорил, сукин сын!» И полковник пишет на кроки: «Деревня Бутунду». Опять едут – опять деревня. «Название?» – «Бутунду». – «Как? Еще Бутунду?» – «Бутунду». Полковник опять пишет: «Бутунду». Так он десять деревень назвал «Бутунду», и вышел он, как у Чехова: «Хоть ты, говорит, – Иванов седьмой, а все-таки дурак!»

– А-а! Вы знаете Чехова? – спросил Щавинский.

– Кого? Чехова? Антошу? Еще бы, черт побери!.. Друзья! Пили мы с ним здорово... Хоть ты, говорит, и седьмой, а все-таки дурак...

– Вы с ним там на Востоке виделись? – быстро спросил Щавинский.

– Как же, обязательно на Востоке. Мы, брат, бывало, с Антон Петровичем... Хоть ты и седьмой, а...

Пока он говорил, Щавинский внимательно наблюдал за ним. Все у него было обычное, чисто армейское: голос, манеры, поношенный мундир, бедный и грубый язык. Щавинскому приходилось видеть сотни таких забулдыг-капитанов, как он. Так же они осклаблялись и чертыхались, расправляли усы влево и вправо молодеватыми движениями, так же вздергивали вверх плечи, оттопыривали локти, картинно опирались на шашку и щелкали воображаемыми шпорами. Но было в нем и что-то совсем особенное, затаенное, чего Щавинский никогда не видел и не мог определить – какая-то внутренняя напряженная, нервная сила. Было похоже на то, что Щавинский вовсе не удивился бы, если бы вдруг этот хрипящий и пьяный бурбон заговорил о тонких и умных вещах, непринужденно и ясно, изящным языком, но не удивился бы также какой-нибудь безумной, внезапной, горячечной, даже кровавой выходке со стороны штабс-капитана.

В лице его поражало Щавинского то разное впечатление, которое производили его фас и профиль. Сбоку это было обыкновенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо: маленький выпуклый лоб под уходящим вверх черепом, русский бесформенный нос сливой, редкие, жесткие черные волосы в усах и на бороденке, голова коротко остриженная, с сильной проседью, тон лица темно-желтый от загара... Но, поворачиваясь лицом к Щавинскому, он сейчас же начинал ему кого-то напоминать. Что-то чрезвычайно знакомое, но такое, чего никак нельзя было

ухватить, чувствовалось в этих узеньких, зорких, ярко-кофейных глазках с разрезом наискось, в тревожном изгибе черных бровей, идущих от переносья кверху, в энергичной сухости кожи, крепко обтягивающей мощные скулы, а главное, в общем выражении этого лица – злобного, насмешливого, умного, даже высокомерного, но не человеческого, а скорее звериного, а еще вернее – лица, принадлежащего существу с другой планеты.

«Точно я его во сне видел», – подумал Щавинский.

Всматриваясь, он невольно прищурился и наклонил голову набок.

Рыбников тотчас же повернулся к нему и захохотал нервно и громко.

– Что вы на меня любуетесь, господин писатель? Интересно? Я, – он возвысил голос и с смешной гордостью ударил себя кулаком в грудь. – Я штабс-капитан Рыбников. Рыб-ни-ков! Православный русский воин, не считая, бьет врага. Такая есть солдатская русская песня. Что? Не верно?

Кодлубцев, бегая пером по бумаге и не глядя на Рыбникова, бросил небрежно:

– И, не считаясь, сдается в плен.

Рыбников быстро бросил взгляд на Кодлубцева, и Щавинский заметил, как в его коричневых глазах блеснули странные желто-зеленые огоньки. Но это было только на мгновение. Тотчас же штабс-капитан захохотал, развел руками и звонко хлопнул себя по ляжкам.

– Ничего не поделаешь – божья воля. Недаром говорится в пословице: нашла коса на камень. Что? Не верно? – Он обратился вдруг к Щавинскому, слегка потрепал его рукою по колену и издал губами безнадежный звук: фить! – Мы всё авось, да кое-как, да как-нибудь – тяп да ляп. К местности не умеем применяться, снаряды не подходят к калибрам орудий, люди на позициях по четверо суток не едят. А японцы, черт бы их побрал, работают, как машины. Макаки, а на их стороне цивилизация, черт бы их брал! Что? Не верно я говорю?

– Так что они, по-вашему, пожалуй, нас и победят? – спросил Щавинский.

У Рыбникова опять задергались губы. Эту привычку уже успел за ним заметить Щавинский. Во все время разговора, особенно когда штабс-капитан задавал вопрос и, насторожившись, ждал ответа или нервно оборачивался на чей-нибудь пристальный взгляд, губы у него быстро дергались то в одну, то в другую сторону в странных гримасах, похожих на судорожные злобные улыбки. И в то же время он торопливо облизывал концом языка свои потрескавшиеся сухие губы, тонкие, синеватые, какие-то обезьяньи или козлиные губы.

– Кто знает! – воскликнул штабс-капитан. – Один бог. Без бога ни до порога, как говорится. Что? Не верно? Кампания еще не кончена. Все впереди. Русский солдат привык к победам. Вспомните Полтаву, незабвенного Суворова... А Севастополь! А как в двенадцатом году мы прогнали величайшего в мире полководца Наполеона. Велик бог земли русской! Что?

Он заговорил, а углы его губ дергались странными, злобными, насмешливыми, нечеловеческими улыбками, и зловещий желтый блеск играл в его глазах под черными суровыми бровями.

Щавинскому принесли в это время кофе.

– Не хотите ли рюмочку коньяку? – предложил он штабс-капитану.

Рыбников опять слегка похлопал его по колену.

– Нет, спасибо, голубчик. Я сегодня черт знает сколько выпил. Башка трещит. С утра, черт возьми, наклюкался. Веселие Руси есть пити. Что? Не правда? – воскликнул он вдруг с лихим видом и внезапно пьяным голосом.

«Притворяется», – подумал Щавинский.

Но почему-то он не хотел отстать и продолжал угощать штабс-капитана.

– Может быть, пива? Красного вина?

– Нет, покорно благодарю. И так пьян. Гран мерси¹.

¹ Большое спасибо (*фр.*).

– Сельтерской воды?

Штабс-капитан оживился.

– Ах, да, да! Вот именно... именно сельтерской... стаканчик не откажусь.

Принесли сифон. Рыбников выпил стакан большими жадными глотками. Даже руки у него задрожали от жадности. И тотчас же налил себе другой стакан. Сразу было видно, что его уже долго мучила жажда.

«Притворяется, – опять подумал Щавинский. – Что за диковинный человек! Он недоволен, утомлен, но ничуть не пьян».

– Жара, черт ее побери, – сказал Рыбников хрипло. – Однако я, господа, кажется, мешаю вам заниматься.

– Нет, ничего. Мы привыкли, – пробурчал Ряжкин.

– А что, нет ли у вас каких-либо свежих известий с войны? – спросил Рыбников. – Эх, господа! – воскликнул он вдруг и громыхнул шашкой. – Сколько бы мог я вам дать интересного материала о войне! Хотите, я вам буду диктовать, а вы только пишете. Вы только пишете. Так и озаглавьте: «Воспоминания штабс-капитана Рыбникова, вернувшегося с войны». Нет, вы не думайте – я без денег, я задарма, задаром. Как вы думаете, господа писатели?

– Что ж, это можно, – вяло отозвался Матаня, – как-нибудь устроим вам интервьюшку... Послушайте, Владимир Иванович, вы ничего не знаете о нашем флоте?

– Нет, ничего; а разве что есть?

– Рассказывают что-то невозможное. Кондрашов слышал от знакомого из морского штаба. Эй! Патологический случай, расскажи Щавинскому!

«Патологический случай», человек с черной трагической бородой и изжеванным лицом, сказал в нос:

– Я не могу, Владимир Иванович, ручаться. Но источник как будто достоверный. В штабе ходит темный слух, что большая часть нашей эскадры сдалась без боя. Что будто бы матросы перевязали офицеров и выкинули белый флаг. Чуть ли не двадцать судов.

– Это действительно ужасно, – тихо произнес Щавинский. – Может быть, еще неправда? Впрочем, теперь такое время, что самое невозможное стало возможным. Кстати, вы знаете, что делается в морских портах? Во всех экипажах идет страшное, глухое брожение. Морские офицеры на берегу боятся встречаться с людьми своей команды.

Разговор стал общим. Эта пронырливая, вездесущая, циничная компания была своего рода чувствительным приемником для всевозможных городских слухов и толков, которые часто доходили раньше до отдельного кабинета «Славы Петрограда», чем до министерских кабинетов. У каждого были свои новости. Это было так интересно, что даже три мушкетера, для которых, казалось, ничего не было на свете святого и значительного, заговорили с непривычной горячностью.

– Носятся слухи о том, что в тылу армии запасные отказываются повиноваться. Что будто солдаты стреляют в офицеров из их же собственных револьверов.

– Я слышал, что главнокомандующий повесил пятьдесят сестер милосердия. Ну, конечно, они были только под видом сестер.

Щавинский оглянулся на Рыбникова. Теперь болтливый штабс-капитан молчал. Сузив глаза, налегши грудью на эфес шашки, он напряженно следил поочередно за каждым из говоривших, и на его скулах под натянутой кожей быстро двигались сухожилия, а губы шевелились, точно он повторял про себя каждое слово.

«Господи, да кого же, наконец, он напоминает?» – в десятый раз с нетерпением подумал фельетонист.

Это так мучило его, что он пробовал прибегнуть к старому знакомому средству: притвориться перед самим собой, что он как будто совсем забыл о штабс-капитане, и потом вдруг

внезапно взглянуть на него. Обыкновенно такой прием довольно быстро помогал ему вспомнить фамилию или место встречи, но теперь он оказывался совсем недействительным.

Под его упорным взглядом Рыбников опять обернулся, глубоко вздохнул и с сокрушением pokrutil головой.

– Ужасное известие. Вы верите? Что? Если даже и правда, не надо отчаиваться. Знаете, как мы, русские, говорим: бог не выдаст, свинья не съест. То есть я хочу сказать, что свинья – это, конечно, японцы.

Теперь он упорно выдерживал пристальный взгляд Щавинского, и в его рыжих звериных глазах фельетонист увидел пламя непримиримой, нечеловеческой ненависти.

В эту минуту спавший на диване поэт Пеструхин вдруг приподнялся, почмокал губами и уставился мутным взглядом на офицера.

– А, японская морда, ты еще здесь? – сказал он пьяным голосом, едва шевеля ртом. – Поговори у меня еще!

И опять упал на диван, перевернувшись на другой бок.

«Японец! – подумал с жутким любопытством Щавинский. – Вот он на кого похож». – И Щавинский сказал протяжно, с многозначительной вескостью:

– Однако вы фру-укт, господин штабс-капитан!

– Я? – закричал тот. Глаза его потухли, но губы еще нервно кривились. – Я – штабс-капитан Рыбников! – Он опять со смешной гордостью стукнул себя кулаком по груди. – Мое русское сердце болит. Позвольте пожалть вашу правую руку. Я под Ляояном контужен в голову, а под Мукденом ранен в ногу. Что? Вы не верите? Вот я вам сейчас покажу.

Он поставил ногу на стул и стал засучивать кверху свои панталоны.

– Ну вас, бросьте, штабс-капитан. Верим, – сказал, морщась, Щавинский.

Но тем не менее из привычного любопытства он успел быстро взглянуть на ногу Рыбникова и заметить, что этот штабс-капитан армейской пехоты носит нижнее белье из прекрасного шелкового трико.

В это время в кабинет вошел посыльный с письмом к Матане.

– Это для вас, Владимир Иванович, – сказал Матаня, разорвав конверт. – Программа из конюшни. Поставьте за меня, пожалуйста, один билет в двойном на Зенита. Я вам во вторник отдам.

– Поедьте со мной на бега, капитан? – предложил Щавинский.

– Куда? На бега? С моим удовольствием. – Рыбников шумно встал, опрокинув стул. – Это где лошади скачут? Штабс-капитан Рыбников куда угодно. В бой, в строй, к чертовой матери! Ха-ха-ха! Вот каков. Что? Не правда?

Когда они уже сидели на извозчике и ехали по Кабинетской улице, Щавинский продел свою руку под руку офицера, нагнулся к самому его уху и сказал чуть слышно:

– Не бойтесь, я вас не выдам. Вы такой же Рыбников, как я Вандербильт. Вы офицер японского генерального штаба, думаю, не меньше, чем в чине полковника, и теперь – военный агент в России...

Но Рыбников не слышал его слов за шумом колес или не понял его. Покачиваясь слегка из стороны в сторону, он говорил хрипло с новым пьяным восторгом:

– З-значит, мы с вами з-закутили! Люблю, черт! Не будь я штабс-капитан Рыбников, русский солдат, если я не люблю русских писателей! Славный народ! Здорово пьют и знают жизнь насквозь! Веселие Руси есть пити. А я, брат, здорово с утра дерябнул.

III

Щавинский – и по роду его занятия и по склонностям натуры – был собирателем человеческих документов, коллекционером редких и странных проявлений человеческого духа. Нередко в продолжение недель, иногда целых месяцев, наблюдал он за интересным субъектом, выслеживая его с упорством страстного охотника и добровольного сыщика. Случалось, что такой добычей оказывался, по его собственному выражению, какой-нибудь «рыцарь из-под темной звезды» – шулер, известный плагиатор, сводник, альфонс, графоман – ужас всех редакций, зарвавшийся кассир или артельщик, тратящий по ресторанам, скачкам и игорным залам казенные деньги с безумием человека, несущегося в пропасть; но бывали также предметами его спортивного увлечения знаменитости сезона – пианисты, певцы, литераторы, чрезмерно счастливые игроки, жокеи, атлеты, входящие в моду кокотки. Добившись во что бы то ни стало знакомства, Щавинский мягко и любовно, с какой-то обволакивающей паучьей манерой овладевал вниманием своей жертвы. Здесь он шел на все: просиживал целыми ночами без сна с пошлыми, ограниченными людьми, весь умственный багаж которых составлял – точно у бушменов – десяток-другой зоологических понятий и шаблонных фраз; он поил в ресторанах отъявленных дураков и негодяев, терпеливо выжидая, пока в опьянении они не распустят пышным махровым цветом своего уродства; льстил людям наобум, с ясными глазами, в чудовищных дозах, твердо веря в то, что лезть – ключ ко всем замкам; щедро раздавал взаймы деньги, зная заранее, что никогда их не получит назад. В оправдание скользкости этого спорта он мог бы сказать, что внутренний психологический интерес значительно превосходил в нем те выгоды, которые он потом приобретал в качестве бытописателя. Ему доставляло странное, очень смутное для него самого наслаждение проникнуть в тайные, недопускаемые комнаты человеческой души, увидеть скрытые, иногда мелочные, иногда позорные, чаще смешные, чем трогательные, пружины внешних действий – так сказать, подержать в руках живое, горячее человеческое сердце и ощутить его биение. Часто при этой пытливой работе ему казалось, что он утрачивает совершенно свое «я», до такой степени он начинал думать и чувствовать душою другого человека, даже говорить его языком и характерными словечками, наконец он даже ловил себя на том, что употребляет чужие жесты и чужие интонации. Но, насытившись человеком, он бросал его. Правда, иногда за минуту увлечения приходилось расплачиваться долго и тяжело.

Но уже давно никто так глубоко, до волнения, не интересовал его, как этот растерзанный, хриплый, пьяноватый общеармейский штабс-капитан. Целый день Щавинский не отпускал его от себя. Порою, сидя бок о бок с ним на извозчике и незаметно наблюдая его, Щавинский думал решительно:

«Нет, не может быть, чтобы я ошибался, – это желтое, раскосое, скуластое лицо, эти постоянные короткие поклоны и потирание рук, и вместе с тем эта напряженная, нервная, жуткая развязность... Но если все это правда и штабс-капитан Рыбников действительно японский шпион, то каким невообразимым присутствием духа должен обладать этот человек, разыгрывающий с великолепной дерзостью среди бела дня, в столице враждебной нации, такую злую и верную карикатуру на русского забубенного армейца! Какие страшные ощущения должен он испытывать, балансируя весь день, каждую минуту над почти неизбежной смертью».

Здесь была совсем уже непонятная для Щавинского очаровательная, безумная и в то же время холодная отвага, был, может быть, высший из всех видов патриотического героизма. И острое любопытство вместе с каким-то почтительным ужасом все сильнее притягивали ум фельетониста к душе этого диковинного штабс-капитана.

Но иногда он мысленно одергивал себя:

«А что, если я сам себе навязал смешную и предвзятую мысль? Что, если я, пытливый сердцевед, сам себя одурачил просто-напросто закутившим гоголевским капитаном Копейкиным? Ведь на Урале и среди оренбургского казачества много именно таких монгольских шафранных лиц». И тогда он еще внимательнее приглядывался к каждому жесту и выражению физиономии штабс-капитана, чутко прислушивался к звукам его голоса.

Рыбников не пропускал ни одного солдата, отдававшего ему честь, и сам прикладывал руку к козырьку фуражки с особенно продолжительной, аффектированной тщательностью. Когда они проезжали мимо церквей, он неизменно снимал шапку и крестился широко и аккуратно и при этом чуть-чуть косил глазом на своего соседа – видит тот или нет?

Однажды Щавинский не вытерпел и сказал:

– Однако вы набожны, капитан.

Рыбников развел руками, комично ушел головой в поднятые плечи и захрипел:

– Ничего не поделаешь, батенька. Привык в боях. Кто на войне не был, богу не маливался. Знаете? Прекрасная русская поговорка. Там, голубчик, поневоле научишься молиться. Бывало, идешь на позицию – пули визжат, шрапнель, гранаты... эти самые проклятые шимозы... но ничего не поделаешь – долг, присяга – идешь! А сам читаешь про себя: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси...»

И он дочитал до самого конца всю молитву, старательно отчеканивая каждый звук.

«Шпион!» – решил Щавинский.

Но он не хотел оставить свое подозрение на половине. Несколько часов подряд он продолжал испытывать и терзать штабс-капитана. В отдельном кабинете, за обедом, он говорил, нагибаясь через стол за стаканом вина и глядя Рыбникову в самые зрачки:

– Слушайте, капитан, теперь нас никто не слышит, и... я не знаю, какое вам дать честное слово, что никто в мире не узнает о нашем разговоре. Я совсем бесповоротно, я глубоко убежден, что вы – японец.

Рыбников опять хлопнул себя по груди кулаком.

– Я штабс...

– Нет, нет, оставим эти выходки. Своего лица вы не спрячете, как вы ни умны. Очертание скул, редкая и жесткая растительность на лице, все, все несомненно указывает на вашу принадлежность к желтой расе. Но вы в безопасности. Я не донесу на вас, что бы мне за это ни обещали, чем бы мне ни угрожали за молчание. Уже по одному тому я не сделаю вам вреда, что все мое сердце полно бесконечным уважением перед вашей удивительной смелостью, я скажу даже больше – полно благоговением, – ужасом, если хотите. Я, – а ведь я писатель, следовательно, человек с воображением и фантазией, – я не могу себе даже представить, как это возможно решиться: за десятки тысяч верст от родины, в городе, полном ненавидящими врагами, ежеминутно рискуя жизнью, – ведь вас повесят без всякого суда, если вы попадетесь, не так ли? – и вдруг разгуливать в мундире офицера, втесываться без разбора во всякие компании, вести самые рискованные разговоры! Ведь маленькая ошибка, оговорка погубит вас в одну секунду. Вот, полчаса тому назад, вы вместо слова «рукопись» сказали – манускрипт. Пустяк, а очень характерный. Армейский штабс-капитан никогда не употребит этого слова применительно к современной рукописи, а только к архивной или к особенно торжественной. Он даже не скажет: рукопись, а сочинение. Но это пустяки. Главное, я не могу постигнуть этого постоянного напряжения ума и воли, этой дьявольской траты душевных сил. Разучиться думать японски, совсем забыть свое имя, отождествиться с другой личностью. Нет, нет, это положительно выше всякого героизма, о котором нам говорили в школах. Милый мой, не лукавьте со мною. Клянусь, я не враг вам.

Он говорил это совсем искренно, весь воспламененный и растроганный тем героическим образом, который ему рисовало воображение. Но штабс-капитан не шел и на лесть. Он слушал его, глядя слегка прищуренными глазами в бокал, который он тихо двигал по скатерти, и

углы его синих губ нервно передергивались. И в лице его Щавинский узнавал все ту же скрытую насмешку, ту же упорную, глубокую, неугасимую ненависть, особую, быть может, никогда не постижимую для европейца, ненависть мудрого, очеловеченного, культурного, вежливого зверя к существу другой породы.

– Э, бросьте вы, благодетель, – возразил небрежно Рыбников. – Ну его к дьяволу! Меня в полку дразнили японцем. Что там! Я – штабс-капитан Рыбников. Знаете, есть русская поговорка: рожа овечья, а душа человеческая. А вот я расскажу вам, у нас в полку был однажды случай...

– А в каком полку вы служили? – внезапно спросил Щавинский.

Но штабс-капитан как будто не расслышал. Он начал рассказывать те старые, заезженные, похабные анекдоты, которые рассказываются в лагерях, на маневрах, в казармах. И Щавинский почувствовал невольную обиду.

Один раз, уже вечером, сидя на извозчике, Щавинский обнял его за талию, притянул к себе и сказал вполголоса:

– Капитан... нет, не капитан, а, наверное, полковник, иначе бы вам не дали такого серьезного поручения. Итак, скажем, полковник: я преклоняюсь перед вашей отвагой, то есть, я хочу сказать, перед безграничным мужеством японского народа. Иногда, когда я читаю или думаю об единичных случаях вашей чертовской храбрости и презрения к смерти, я испытываю дрожь восторга. Какая, например, бессмертная красота и божественная дерзость в поступке этого командира расстрелянного судна, который на предложение сдаться молча закурил папироску и с папироской в зубах пошел ко дну. Какая необъятная сила и какое восхитительное презрение к врагам! А морские кадеты, которые на брандерах пошли на верную смерть с такой радостью, как будто они отправились на бал? А помните, как какой-то лейтенант – один, совсем один, – пробуксировал на лодке торпеду к окончанию порт-артурского мола? Его осветили прожектором, и от него с его торпедой осталось только большое кровавое пятно на бетонной стене, но на другой же день все мичманы и лейтенанты японского флота засыпали адмирала Того прошениями, где они вызывались повторить тот же безумный подвиг. Что за герои! Но еще великолепнее приказ Того о том, чтобы подчиненные ему офицеры не смели так рисковать своей жизнью, которая принадлежит не им, а отечеству. Ах, черт, красиво!

– По какой это мы улице едем? – прервал его Рыбников и зевнул. – После маньчжурских сопок я совсем забыл ориентироваться на улице. У нас в Харбине...

Но увлекшийся Щавинский продолжал, не слушая его:

– Помните вы случай, когда офицер, взятый в плен, разбил себе голову о камень? Но что всего изумительнее – это подписи самураев. Вы, конечно, не слышали об этом, господин штабс-капитан Рыбников? – спросил Щавинский с язвительным подчеркиванием. – Ну да, понятно, не слышали... Генерал Ноги, видите ли, вызвал охотников идти в первой колонне на ночной штурм порт-артурских укреплений. Почти весь отряд вызвался на это дело, на эту почетную смерть. И так как их оказалось слишком много и так как они торопились друг перед другом попасть на смерть, то они просили об этом письменно, и некоторые из них, по древнему обычаю, отрубали себе указательный палец левой руки и прикладывали его к подписи в виде кровавой печати. Это делали самураи!

– Самураи! – повторил Рыбников глухо.

В горле у него что-то точно оборвалось и захлестнулось. Щавинский быстро оглядел его в профиль. Неожиданное, не виданное до сих пор выражение нежной мягкости легло вокруг рта и на дрогнувшем подбородке штабс-капитана, и глаза его засияли тем теплым, дрожащим светом, который светится сквозь внезапные непроливающиеся слезы. Но он тотчас же справился с собой, на секунду зажмурился, потом повернул к Щавинскому простодушное, бессмысленное лицо и вдруг выругался скверным, длинным русским ругательством.

– Капитан, капитан, что это с вами? – воскликнул Щавинский почти в испуге.

– Это все в газетах наврали, – сказал Рыбников небрежно, – наш русский солдатик ничем не хуже. Но, конечно, есть разница. Они дерутся за свою жизнь, за славу, за самостоятельность, а мы почему вязались? Никто не знает! Черт знает почему! Не было печали – черти накачали, как говорится по-русски. Что? Не верно? Ха-ха-ха.

На бегах Щавинского несколько отвлекла игра, и он не мог все время следить за штабс-капитаном. Но в антрактах между заездами он видел его изредка то на одной, то на другой трибуне, вверху, внизу, в буфете и около касс. В этот день слово «Цусима» было у всех на языке – у игроков, у наездников, у букмекеров, даже у всех таинственных рваных личностей, обыкновенно неизбежных на бегах. Это слово произносили в насмешку над выдохшейся лошастью, и в досаде на проигрыш, и с равнодушным смехом, и с горечью. Кое-где говорили страстно. И Щавинский видел издали, как штабс-капитан с его доверчивой, развязной и пьяноватой манерой заводил с кем-то споры, жал кому-то руки, хлопал кого-то по плечам. Его маленькая прихрамывающая фигурка мелькала повсюду.

С бегов поехали в ресторан, а оттуда на квартиру к Щавинскому. Фельетонист немного стыдился своей роли добровольного сыщика, но чувствовал, что не в силах отстать от нее, хотя у него уже начиналась усталость и головная боль от этой тайной, напряженной борьбы с чужой душой. Убедившись, что лесть ему не помогла, он теперь пробовал довести штабс-капитана до откровенности, дразня и возбуждая его патриотические чувства.

– Да, но все-таки жаль мне бедных макаков! – говорил он с ироническим сожалением. – Что там ни рассказывай, а Япония в этой войне истощила весь свой национальный гений. Она, по-моему, похожа на худенького, тщедушного человечка, который в экстазе и опьянении или от хвастовства взял и поднял спиной двадцать пудов, надорвав себе живот, и вот уже начинает умирать медленной смертью. Россия, видите, это совсем особая страна – это колосс. Для нее маньчжурское поражение все равно, что кровесосные банки для полнокровного человека. Вот увидите, как она поправится и зацветет после войны. А Япония захиреет и умрет. Она надорвалась. Пусть мне не говорят, что там культура, общая грамотность, европейская техника. Все-таки в конце концов японец – азиат, получеловек, полуобезьяна. Он и по типу приближается к обезьяне так же, как бушмен, туарег и ботокуд. Стоит обратить внимание на камперов угол его лица. Одним словом – макаки. И нас победила вовсе не ваша культура или политическая молодость, а просто какая-то сумасшедшая вспышка, эпилептический припадок. Вы знаете, что такое gartus, припадок бешенства? Слабая женщина разрывает цепи и разбрасывает здоровенных мужчин, как щепки. На другой день она не в силах поднять руку. Так и Япония. Поверьте, после ее героического припадка наступит бессилие, маразм. Но, конечно, раньше она пройдет через полосу национального хвастовства, оскорбительной военщины и безумного шовинизма.

– Вер-р-но! – кричал на это штабс-капитан Рыбников в дурацком восторге. – Что верно, то верно. Вашу руку, мусьё писатель. Сразу видно умного человека.

Он хрипло хохотал, отплевывался, хлопал Щавинского по коленям, тряс его за руку. И Щавинскому вдруг стало стыдно за себя и за свои тайные приемы проницательного сердцеведа.

«А что, если я ошибаюсь, и этот Рыбников – самый что ни на есть истый распехотный армейский пропойца? Фу ты, черт! Да нет, это невозможно. И если возможно, то, боже мой, каким дурнем я себя веду!»

У себя на квартире он показал штабс-капитану свою библиотеку, коллекцию старинного фарфора, редкие гравюры и двух породистых сибирских лаек. Жены его – маленькой опереточной артистки – не было в городе.

Рыбников разглядывал все это с вежливым, но безучастным любопытством, в котором хозяину казалось даже нечто похожее на скуку, даже на холодное презрение. Между прочим, Рыбников открыл книжку какого-то журнала и прочел из нее вслух несколько строчек.

«Это он, однако, сделал ошибку!» – подумал Щавинский, когда услышал его чтение, чрезвычайно правильное, но деревянное, с преувеличенно-точным произношением каждой буквы, каким щеголяют первые ученики, изучающие чужой язык. Но, должно быть, Рыбников и сам это заметил, потому что вскоре захлопнул книжку и спросил:

– Вы ведь сами писатель?

– Да... немного...

– А вы в каких газетах пишете?

Щавинский назвал. Этот вопрос Рыбников предлагал ему за нынешний день в шестой раз.

– Ах, да, да, да. Я забыл, я уже спрашивал. Знаете что, господин писатель?

– Именно?

– Сделаем с вами так: вы пишете, а я буду диктовать... То есть не диктовать... О нет, я никогда не посмею. – Рыбников потер руки и закланялся торопливо. – Вы, конечно, будете излагать сами, а я вам буду только давать мысли и некоторые... как бы выразиться... мемуары о войне. Ах, сколько у меня интересного материала!..

Щавинский сел боком на стол и посмотрел на штабс-капитана, лукаво прищурился одним глазом.

– И, конечно, упомянуть вашу фамилию?

– А что же? Можете. Я ничего не имею против. Так и упомяните: сведения эти любезно сообщил штабс-капитан Рыбников, только что вернувшийся с театра военных действий.

– Так-с, чудесно-с. Это вам для чего же?

– Что такое?

– Да вот непременно, чтобы вашу фамилию? Или это вам нужно будет впоследствии для отчета? Что вот, мол, инспирировал русские газеты?.. Какой я ловкий мужчина? А?

Но штабс-капитан, по своему обыкновению, ушел от прямого ответа.

– А может быть, у вас нет времени? Заняты другой работой? Тогда – и ну их к черту, эти воспоминания. Всего не переписешь, что было. Как говорится: жизнь пережить – не поле перейти. Что? Не правду я говорю? Ха-ха-ха!

В это время Щавинскому пришла в голову интересная затея. У него в кабинете стоял большой белый стол из некрашеного ясеневоего дерева. На чистой, нежной доске этого стола все знакомые Щавинского оставляли свои автографы в виде афоризмов, стихов, рисунков и даже музыкальных нот. Он сказал Рыбникову:

– Смотрите, вот мой альбом, господин капитан. Не напишете ли вы мне что-нибудь на память о нашем приятном (Щавинский учтиво поклонился) и, смею льстить себя надеждой, не кратковременном знакомстве?

– Отчего же, я с удовольствием, – охотно согласился Рыбников. – Что-нибудь из Пушкина или из Гоголя?

– Нет... уж лучше что-нибудь сами.

– Сам? Отлично.

Он взял перо, обмакнул, подумал и приготовился писать. Но Щавинский вдруг остановил его:

– Мы с вами вот как сделаем лучше. Нате вам четвертушку бумаги, а здесь, в коробочке, кнопки. Прошу вас, напишите что-нибудь особенно интересное, а потом закройте бумагой и прижмите по углам кнопками. Я даю вам честное слово, честное слово писателя, что в продолжение двух месяцев я не притронусь к этой бумажке и не буду глядеть, что вы там написали. Идет? Ну, так пишите. Я нарочно уйду, чтобы вам не мешать.

Через пять минут Рыбников крикнул ему:

– Пожалуйста!

– Готово? – спросил Щавинский, входя.

Рыбников вытянулся, приложил руку ко лбу, как отдают честь, и гаркнул по-солдатски:
– Так точно, ваше благородие.

– Спасибо! Ну, а теперь поедem в Буфф или еще куда-нибудь, – сказал Щавинский. – Там будет видно. Я вас сегодня целый день не отпущу от себя, капитан.

– С моим превеликим удовольствием, – сказал хриплым басом Рыбников, щелкая каб-луками.

И, подняв кверху плечи, он лихо расправил в одну и другую сторону усы.

Но Щавинский невольно обманул штабс-капитана и не сдержал своего слова. В последний момент, перед уходом из дома фельетонист спохватился, что забыл в кабинете свой портсигар, и пошел за ним, оставив Рыбникова в передней. Белый листок бумаги, аккуратно приколотый кнопками, раздражил его любопытство. Он не устоял перед соблазном, обернулся по-воровски назад и, отогнув бумагу, быстро прочитал слова, написанные тонким, четким, необыкновенно изящным почерком:

«Хоть ты Иванов 7-й, а дурак!..»

IV

Много позднее полуночи они выходили из загородного кафешантана в компании известного опереточного комика Женина-Лирского, молодого товарища прокурора Сашки Штральмана, который был известен повсюду в Петербурге своим несравненным умением рассказывать смешные сценки на злобу дня, и покровителя искусств – купеческого сына Карюкова.

Было не светло и не темно. Стояла теплая, белая, прозрачная ночь с ее нежными переливчатыми красками, с перламутровой водой в тихих каналах, четко отражавших зелень деревьев, с бледным, точно утомленным бессонницей небом и со спящими облаками на небе, длинными, тонкими, пушистыми, как клочья растрепанной ваты.

– Куда же мы поедем? – спросил Щавинский, останавливаясь у ворот сада. – Маршал Ояма! Ваше просвещенное мнение?

Все пятеро замешкались на тротуаре. Ими овладел момент обычной предутренней нерешительности, когда в закутивших людях физическая усталость борется с непреодолимым раздражающим стремлением к новым пряным впечатлениям. Из сада непрерывно выходили посетители, смеясь, напевая, звонко шаркая ногами по сухим белым плитам. Торопливой походкой, смело свистя шелком нижних юбок, выбегали шансонетные певицы в огромных шляпах, с дрожащими брильянтами в ушах, в сопровождении щеголеватых мужчин в светлых костюмах, украшенных бутоньерками. Эти дамы, почтительно подсаживаемые швейцарами, впархивали в экипажи и в пыхтящие автомобили, непринужденно расправляли вокруг своих ног платья и быстро уносились вперед, придерживая рукой передний край шляпы. Хористки и садовые девицы высшего разбора разъезжались на простых извозчиках, сидя с мужчиной по одной и по две. Другие – обыкновенные, панельные проститутки – шныряли тут же около деревянного забора, приставая к тем мужчинам, которые расходились пешком, и в особенности к пьяным. Их лица в светлом, белом сумраке майской ночи казались, точно грубые маски, голубыми от белил, рдели пунцовым румянцем и поражали глаз чернотой, толщиной и необычайной круглостью бровей; но тем жалче из-под этих наивно-ярких красок выглядывала желтизна морщинистых висков, худоба жилистых шей и ожирелость дряблых подбородков. Двое конных городских, непристойно ругаясь, то и дело наезжали на них опененными мордами своих лошадей, отчего девицы визжали, разбегались и хватались за рукава прохожих. У решетки, ограждающей канал, толпилось человек двадцать – там происходил обычный утренний скандал. Мертвецки пьяный безусый офицер буянил и делал вид, что хочет вытащить шашку, а городской о чем-то его упрасивал убедительным фальцетом, прилагая руку к сердцу. Какая-то юркая, темная и нетрезвая личность в картузе с рваным козырьком говорила слащаво и подобострастно: «Ваше благородие, плюньте на их, не стоит вам внимать обращение. Лучше вы вдарьте mine в морду, позвольте, я вам ручку поцелую, ваше благородие». А в задних рядах сухопарый и суровый джентльмен, у которого из-под надвинутого на нос котелка виднелись только толстые черные усы, гудел невнятным басом: «Чего ему в зубы смотреть! В воду его, и крышка!»

– А в самом деле, майор Фукушима, – сказал актер. – Надо же достойно заключить день нашего приятного знакомства. Поедьте к девочкам. Сашка, куда?

– К Берте? – ответил вопросом Штральман.

Рыбников захихикал и с веселой суетливостью потер руки.

– К женщинам? А что ж, за компанию – говорит русская пословица – и жид удавился. Куда люди, туда и мы. Что, не правда? Ехать так ехать – сказал попугай. Что? Ха-ха-ха!

С этими молодыми людьми его познакомил Щавинский, и они все вместе ужинали в кафешантане, слушали румын и пили шампанское и ликеры. Одно время им казалось смешным называть Рыбникова фамилиями разных японских полководцев, тем более что добродушие штабс-капитана, по-видимому, не имело границ. Эту грубую и фамильярную игру начал

Щавинский. Правда, он чувствовал по временам, что поступает по отношению к Рыбникову некрасиво, даже, пожалуй, предательски. Но он успокаивал свою совесть тем, что ни разу не высказал вслух своих подозрений, а его знакомым они вовсе не приходили в голову.

В начале вечера он наблюдал за Рыбниковым. Штабс-капитан был шумнее и болтливее всех: он ежеминутно чокался, вскакивал, садился, разливал вино по скатерти, закуривал папиросу не тем концом. Однако Щавинский заметил, что пил он очень мало.

Рыбникову опять пришлось ехать на извозчике вместе с фельетонистом. Щавинский почти не был пьян – он вообще отличался большой выносливостью в кутежах, но голова у него была легкая и шумная, точно в ней играла пена от шампанского. Он поглядел на штабс-капитана сбоку. В неверном, полусонном свете белой ночи лицо Рыбникова приняло темный, глиняный оттенок. Все впадины на нем стали резкими и черными, морщинки на висках и складки около носа и вокруг рта углубились. И сам штабс-капитан сидел сгорбившись, опустившись, запрятав руки в рукава шинели, тяжело дыша раскрытым ртом. Все это вместе придавало ему измученный, страдальческий вид. Щавинский даже слышал носом его дыхание и подумал, что именно такое несвежее, кислое дыхание бывает у игроков после нескольких ночей азарта, у людей, истомленных бессонницей или напряженной мозговой работой. Волна добродушного умиления и жалости прилила к сердцу Щавинского. Штабс-капитан вдруг показался ему маленьким, загнанным, трогательно-жалким. Он обнял Рыбникова, привлек к себе и сказал ласково:

– Ну, ладно, капитан. Я сдаюсь. Ничего не могу с вами поделать и извиняюсь, если доставил вам несколько неприятных минут. Вашу руку.

Он отстегнул от своей визитки бутоньерку с розой, которую ему навязала в саду продавщица цветов, и вдел ее в петлицу капитанского пальто.

– Это в знак мира, капитан. Не будем больше изводить друг друга.

Извозчик остановился у каменного двухэтажного особняка с приличным подъездом, с окнами, закрытыми сплошь ставнями. Остальные приехали раньше и уже их дожидались. Их пустили не сразу. Сначала в тяжелой двери открылось изнутри четырехугольное отверстие, величиной с ладонь, и в нем на несколько секунд показался чей-то холодный и внимательный серый глаз. Потом двери раскрылись.

Это учреждение было нечто среднее между дорогим публичным домом и роскошным клубом – с шикарным входом, с чучелом медведя в передней, с коврами, шелковыми занавесками и люстрами, с лакеями во фраках и перчатках. Сюда ездили мужчины заканчивать ночь после закрытия ресторанов. Здесь же играли в карты, держались дорогие вина и всегда был большой запас красивых, свежих женщин, которые часто менялись.

Пришлось подниматься во второй этаж. Там наверху была устроена широкая площадка с растениями в кадках и с диванчиком, отделенная от лестницы перилами. Щавинский поднимался под руку с Рыбниковым. Хоть он и дал себе внутренне слово – не дразнить его больше, но тут не мог сдержаться и сказал:

– Взойдемте на эшафот, капитан!

– Я не боюсь, – сказал тот лениво. – Я и так хожу каждый день на смерть.

Рыбников слабо махнул рукой и принужденно улыбнулся. Лицо его вдруг сделалось от этой улыбки усталым, каким-то серым и старческим.

Щавинский посмотрел на него молча с удивлением. Ему стало стыдно своей назойливости. Но Рыбников тотчас же вывернулся.

– Ну да, на смерть. Солдат всегда должен быть готов к этому. Что поделаешь? Смерть – это маленькое неудобство в нашей профессии.

В этом доме Щавинский и меценат Карюков были свои люди и почетные завсегдатаи. Их встречали с веселыми улыбками и глубокими поклонами.

Им отвели большой, теплый кабинет, красный с золотом, с толстым светло-зеленым ковром на полу, с канделябрами в углах и на столе. Подали шампанское, фрукты и конфеты. Пришли женщины – сначала три, потом еще две, – потом все время одни из них приходили, другие уходили, и все до одной они были хорошенькие, сильно напудренные, с обнаженными белыми руками, шеями и грудью, одетые в блестящие, яркие, дорогие платья, некоторые в юбках по колено, одна в коричневой форме гимназистки, одна в тесных рейтузах и жокейской шапочке. Пришла также пожилая полная дама в черном, – очень приличная на вид, с лицом лимонно-желтым и дряблым, которая все время смеялась по-старчески приятно, ежеминутно кашляла и курила не переставая. Она обращалась с Щавинским, с актером и меценатом с милым, непринужденным кокетством дамы, годящейся им в матери, хлопала их по рукам платком, а Штральмана – очевидно, любимца – называла Сашкой.

– Ну-с, генерал Куроки, выпьем за блестящие успехи славной маньчжурской армии. А то вы сидите и киснете, – сказал Карюков.

Щавинский перебил его, зевнув:

– Будет вам, господа. Кажется, уж должно бы надоест. Вы злоупотребляете добродушием капитана.

– Нет, я не сержусь, – возразил Рыбников, – выпьем, господа, за здоровье наших милых дам.

– Лирский, спой что-нибудь, – попросил Щавинский.

Актер охотно сел за пианино и запел цыганский романс. Он, собственно, не пел его, а скорее рассказывал, не выпуская изо рта сигары, глядя в потолок, манерно раскачиваясь. Женщины вторили ему громко и фальшиво, стараясь одна поспеть раньше другой в словах. Потом Сашка Штральман прекрасно имитировал фонограф, изображал в лицах итальянскую оперу и подражал животным. Карюков танцевал фанданго и все спрашивал новые бутылки.

Он первый исчез из комнаты с рыжей молчаливой полькой, за ним последовали Штральман и актер. Остались только Щавинский, у которого на коленях сидела смуглая белозубая венгерка, и Рыбников рядом с белокурой полной женщиной в синей атласной кофте, вырезанной четырехугольником до половины груди.

– Что же, капитан, простимся на минутку, – сказал Щавинский, поднимаясь и потягиваясь. – Поздно. Вернее, надо бы сказать, рано. Приезжайте ко мне в час завтракать, капитан. Мамаша, вы вино запишите на Карюкова. Если он любит святое искусство, то пусть и платит за честь ужинать с его служителями. Мои комплименты.

Белокурая женщина обняла капитана голой рукой за шею и сказала просто:

– Пойдем и мы, дуся. Правда, поздно.

V

У нее была маленькая, веселая комнатка с голубыми обоями, бледно-голубым висячим фонарем; на туалетном столе круглое зеркало в голубой кисейной раме, на одной стене олеографии, на другой стене ковер, и вдоль его широкая металлическая кровать.

Женщина разделась и с чувством облегчения и удовольствия погладила себя по бокам, где сорочка от корсета залегла складками. Потом она прикрутила фитиль в лампе и, севши на кровать, стала спокойно расшнуровывать ботинки.

Рыбников сидел у стола, расставив локти и опустив на них голову. Он, не отрываясь, глядел на ее большие, но красивые ноги с полными икрами, которые ловко обтягивали черные ажурные чулки.

– Что же вы, офицер, не раздеваетесь? – спросила женщина. – Скажите, дуся, отчего они вас зовут японским генералом?

Рыбников засмеялся, не отводя взгляда от ее ног.

– Это так – глупости. Просто они шутят. Знаешь стихи: смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно...

– Дуся, вы меня угостите еще шампанским? Ну, если вы такой скупой, то я спрошу хоть апельсинов. Вы на время или на ночь?

– На ночь. Иди ко мне.

Она легла рядом с ним, торопливо бросила через себя на пол папиросу и забарахталась под одеялом.

– Ты у стенки любишь? – спросила она. – Хорошо, лежи, лежи. У, какие у тебя ноги холодные! Ты знаешь, я обожаю военных. Как тебя зовут?

– Меня? – он откашлялся и ответил неверным тоном: – Я – штабс-капитан Рыбников. Василий Александрович Рыбников.

– А, Вася! У меня есть один знакомый лицеистик Вася – прелесть, какой хорошенький! Она запела, ежась под одеялом, смеясь и жмурясь:

Вася, Вася, Васенька,
Говоришь ты басенки.

– А знаешь, ей-богу, ты похож на япончика. И знаешь на кого? На микаду. У нас есть портрет. Жаль, теперь поздно, а то бы я тебе показала. Ну, вот прямо как две капли воды.

– Что же, очень приятно, – сказал Рыбников и тихо обнял ее гладкое и круглое плечо.

– А может, ты и правда японец? Они говорят, что ты был на войне, – это правда? Ой, мамочка, я боюсь щекотки. А что, страшно на войне?

– Страшно... Нет, не особенно. Оставим это, – сказал он устало. – Как твое имя?

– Клотильда. Нет, я тебе скажу по секрету, что меня зовут Настей. Это только мне здесь дали имя Клотильда. Потому что мое имя такое некрасивое... Настя, Настасья, точно кухарка.

– Настя? – переспросил он задумчиво и осторожно поцеловал ее в грудь. – Нет, это хорошо. На-стя, – повторил он медленно.

– Ну вот, что хорошего? Вот хорошие имена, например, Мальвина, Ванда, Женя, а, вот еще Ирма... Ух, дуся! – Она прижалась к нему. – А вы симпатичный... Такой брюнет. Я люблю брюнетов. Вы, наверное, женаты?

– Нет, не женат.

– Ну вот, рассказывайте. Все здесь прикидываются холостыми. Наверное, шесть человек детей имеете?

Оттого что окно было заперто ставнями, а лампа едва горела, в комнате было темно. Ее лицо, лежавшее совсем близко от его головы, причудливо и изменчиво выделялось на смутной белизне подушки. Оно уже стало не похоже на прежнее лицо, простое и красивое, круглое, русское, сероглазое лицо, – теперь оно сделалось точно худее и, ежеминутно и странно меняя выражение, казалось нежным, милым, загадочным и напоминало Рыбникову чье-то бесконечно знакомое, давно любимое, обаятельное, прекрасное лицо.

– Как ты хороша! – шептал он. – Я люблю тебя... я тебя люблю.

Он произнес вдруг какое-то непонятное слово, совершенно чуждое слуху женщины.

– Что ты сказал? – спросила она с удивлением.

– Нет, ничего... ничего. Это – так. Милая! Женщина! Ты – женщина... Я тебя люблю...

Он целовал ей руки, шею, волосы, дрожа от нетерпения, сдерживать которое ему доставляло чудесное наслаждение. Им овладела бурная и нежная страсть к этой сытой, бездетной самке, к ее большому, молодому, выхоленному, красивому телу. Влечение к женщине, подавляемое до сих пор суровой аскетической жизнью, постоянной физической усталостью, напряженной работой ума и воли, внезапно зажглось в нем нестерпимым, опьяняющим пламенем.

– У тебя и руки холодные, – сказала она с застенчивой неловкостью. Было в этом человеке что-то неожиданное, тревожное, совсем непонятное для нее. – Руки холодные – сердце горячее.

– Да, да, да... Сердце, – твердил он, как безумный, задыхаясь и дрожа. – Сердце горячее... сердце...

Она уже давно привыкла к внешним обрядам и постыдным подробностям любви и исполняла их каждый день по нескольку раз – механически, равнодушно, часто с молчаливым отвращением. Сотни мужчин, от древних старцев, клавших на ночь свои зубы в стакан с водой, до мальчишек, у которых в голосе бас мешается с дискантом, штатские, военные, люди плешивые и обросшие, как обезьяны, с ног до головы шерстью, взволнованные и бессильные, морфинисты, не скрывавшие перед ней своего порока, красавцы, калеки, развратники, от которых ее иногда тошнило, юноши, плакавшие от тоски первого падения, – все они обнимали ее с бесстыдными словами, с долгими поцелуями, дышали ей в лицо, стонали от пароксизма собачьей страсти, которая – она уже заранее знала – сию минуту сменится у них нескрываемым, непреодолимым отвращением. И давно уже все мужские лица потеряли в ее глазах всякие индивидуальные черты – и точно слились в одно омерзительное, но неизбежное, вечно склоняющееся к ней, похотливое, козлийное мужское лицо с колючим слюнявым ртом, с затуманенными глазами, тусклыми, как слюда, перекошенное, обезображенное гримасой сладострастия, которое ей было противно, потому что она его никогда не разделяла.

К тому же все они были грубы, требовательны и лишены самого простейшего стыда, были большей частью безобразно смешны, как только может быть безобразен и смешон современный мужчина в нижнем белье. Но этот маленький пожилой офицер производил какое-то особенное, новое, привлекательное впечатление. Все движения его отличались тихой и вкрадчивой осторожностью. Его ласки, поцелуи и прикосновения были невиданно нежны. И между тем он незаметно окружал ее той нервной атмосферой истинной, напряженной, звериной страсти, которая даже на расстоянии, даже против воли, волнует чувственность женщины, делает ее послушной, подчиняет ее желаниям самца. Но ее бедный маленький ум, не вышедший за узкие рамки обихода публичного дома, не умел сознать этого странного, волнующего очарования. Она могла только шептать, стыдясь, счастливая и удивленная, обычные пошлые слова:

– Какой вы интересный мужчина! Вы мой цыпа-ля-ля? Да?

Она встала, потушила лампу и опять легла возле него. Сквозь щели между ставнями и стеной тонкими полосами белело утро, наполняя комнату синим туманным полусветом. Где-то за перегородкой торопливо стучал будильник. Кто-то пел далеко-далеко и грустно.

– Когда ты еще придешь? – спросила женщина.

– Что? – сонно спросил Рыбников, открывая глаза. – Когда приду? Скоро... Завтра...

– Ну да... обманываешь. Нет, скажи по правде – когда? Я без тебя буду скучать.

– М-м... Мы придем скучать... Мы им напишем... Они останутся в горах... – бормотал он бессвязно.

Тяжелая дремота сковывала и томила его. Но, как это всегда бывает с людьми, давно выбившимися из сна, он не мог заснуть сразу. Едва только сознание его начинало заволакиваться темной, мягкой и сладостной пеленой забвения, как страшный внутренний толчок вдруг подбрасывал его тело. Он со стоном вздрагивал, широко открывал в диком испуге глаза и тотчас же опять погружался в раздражающее переходное состояние между сном и бодрствованием, похожее на бред, полный грозных видений.

Женщине не хотелось спать. Она сидела на кровати в одной сорочке, обхватив голыми руками согнутые колени, и с боязливым любопытством смотрела на Рыбникова. В голубоватом полумраке его лицо еще больше пожелтело, обострилось и было похоже на мертвое. Рот оставался открытым, но дыхания его она не слышала. И на всем его лице – особенно кругом глаз и около рта – лежало выражение такой измученности, такого глубокого человеческого страдания, каких она еще никогда не видала в своей жизни. Она тихо провела рукой по его жестким волосам и лбу. Кожа была холодна и вся покрыта липким потом. От этого прикосновения Рыбников задрожал, испуганно вскрикнул и быстрым движением поднялся с подушек.

– А!.. Кто это? Кто? – произносил он отрывисто, вытирая рукавом рубашки лицо.

– Что с тобой, котик? – спросила женщина участливо. – Тебе нехорошо? Может быть, дать тебе воды?

Но Рыбников уже овладел собой и опять лег.

– Нет, благодарю!.. Теперь хорошо... Мне приснилось... Ложись спать, милая девочка, прошу тебя.

– Когда тебя разбудить, дуся? – спросила она.

– Разбудить... Утром... Рано взойдет солнце, и приедут драгуны... Мы поплывем... Знаете? Мы поплывем через реку.

Он замолчал и несколько минут лежал тихо. Но внезапно его неподвижное мертвое лицо исказилось гримасой мучительной боли. Он со стоном повернулся на спину, и странные, дико звучащие, таинственные слова чужого языка быстро побежали с его губ.

Женщина слушала, перестав дышать, охваченная тем суеверным страхом, который всегда порождается бредом спящего. Его лицо было в двух вершках от нее, и она не сводила с него глаз. Он молчал с минуту, потом опять заговорил дивно и непонятно. Опять помолчал, точно прислушиваясь к чьим-то словам. И вдруг женщина услышала произнесенное громко, ясным и твердым голосом, единственное знакомое ей из газет японское слово:

– Банзай!

Сердце ее так сильно трепетало, что от его толчков часто и равномерно вздрагивало плюшевое одеяло. Она вспомнила, как сегодня в красном кабинете Рыбникова называли именами японских генералов, и слабое, далекое подозрение уже начинало копошиться в ее темном уме.

Кто-то тихонько поцарапался в дверь. Она встала и отворила ее.

– Клотильдочка, это ты? – послышался тихий женский шепот. – Ты не спишь? Зайди ко мне на минуточку. У меня Ленька, угощает абрикотином. Зайди, милочка!

Это была Соня Караимка – соседка Клотильды, связанная с ней узами той истеричной и слащавой влюбленности, которая всегда соединяет попарно женщин в этих учреждениях.

– Хорошо. Я сейчас приду. Ах, я тебе расскажу что-то интересное. Подожди, я оденусь.

– Глупости! Не надо. Перед кем стесняться, перед Ленькой! Иди, как есть.

Она стала надевать юбку.

Рыбников проснулся.

– Ты куда? – спросил он сонно.

– Я сейчас, мне надо, – ответила она, поспешно завязывая тесемку над бедрами. – Спи себе. Я сию минуту вернусь.

Но он уже не слышал ее последних слов, потому что густой черный сон сразу потопил его сознание.

VI

Ленька был кумиром всего дома, начиная от мамы и кончая последней горничной. В этих учреждениях, где скука, бездействие и лубочная литература порождают повышенные романтические вкусы, наибольшим обожанием пользуются воры и сыщики благодаря своему героическому существованию, полному захватывающих приключений, опасности и риска. Ленька появлялся здесь в самых разнообразных костюмах, чуть ли не гримированным, был в некоторых случаях многозначительно и таинственно молчалив, и главное – это все хорошо помнят – он неоднократно доказывал, что местные городские чувствуют к нему безграничное уважение и слепо исполняют его приказания. Был случай, когда он тремя-четырьмя словами, сказанными на загадочном жаргоне, в один миг прекратил страшный скандал, затеянный пьяными ворами, и заставил их покорно уйти из заведения. Кроме того, у него временами водились большие деньги. Поэтому немудрено, что к Генриетте, или, как он ее называл, Геньке, с которою он «крутил любовь», относились здесь с завистливым почтением.

Это был молодой человек со смуглым веснушчатым лицом, с черными усами, торчащими вверх, к самым глазам, с твердым, низким и широким подбородком и с темными, красивыми, наглыми глазами. Он сидел теперь на диване без сюртука, в расстегнутом жилете и развязанном галстуке. Он был строен и мал ростом, но выпуклая грудь и крепкие мускулы, распиравшие рукава рубашки у плеч, говорили об его большой силе. Рядом с ним, с ногами на диване, сидела Генька, напротив – Клотильда. Медленно потягивая красными губами ликер, он рассказывал небрежно, наигранным фатовским тоном:

– Привели его в участок. Паспорт при нем: Корней Сапетов, колпинский мещанин, или как там его. Ну, конечно, обязательно пьян, каналья. «Посадить его в холодную для вытрезвления». Обыкновенный принцип. Но в эту самую минуту я случайно прихожу в канцелярию пристава. Гляжу – ба-ба-ба! Старый знакомый, Санька Мясник. Тройное убийство и взлом святого храма. Сейчас сделал издали глазами намек дежурному околоточному и, как будто ничего себе, вышел в коридор. Выходит ко мне околоточный. «Что вы, Леонтий Спиридонович?» – «А ну-ка, отправьте этого красавца на минуточку в сыскную». Привели его. У мерзавца ни один мускул на лице не дрогнул. Я этак посмотрел ему в глаза и го-во-рю... – Ленька значительно постучал костяшками пальцев по столу, – «Давно ли, Санечка, пожаловали к нам из Одессы?» Он, конечно, держит себя индифферентно – валяет дурака. Никаких. Тоже субъект! «Не могу знать, какой-такой Санька Мясник. Я такой-то». Тут я подхожу к нему, хватить его за бороду! – трах! Борода осталась у меня в руках. Привязанная!.. «Сознаешься, сукин сын?» – «Не могу знать». Кэ-эк я его, прохвоста, врежу в переносье, прямым штосом – р-раз! Потом – два! В кровь! «Сознаешься?» – «Не могу знать». – «А – так ты так-то! Я до сих пор гуманно щадил тебя. А теперь пеняй на себя. Позвать сюда Арсения Блоху». Был у нас такой арестант, до слез этого Саньку ненавидел. Я, брат, уж тонко знаю ихние взаимные фигель-мигели. Привели Блоху. «Ну, так и так, Блоха. Кто сей самый индивидуум?» Блоха смеется: «Да кто же иной, как не Санька Мясник? Как ваше здоровье, Санечка? Давно ли к нам припожаловали? Как вам фартило в Одестах?» Ну, уж тут Мясник сдался. «Берите, говорит, Леонтий Спиридонович, ваша взяла, от вас никуда не уйдешь. Одолжите папиросочку». Ну, конечно, я ему папироску дал. Я им в этом никогда не отказываю из альтруизма. Повели раба божьего. А на Блоху он только поглядел. И я подумал: «Ну, уж, должно быть, Блохе не поздоровится. Наверное, его Мясник пришьет».

– Пришьет? – шепотом, с ужасом, с подобострастием и уверенностью спросила Генька.
– Абсолютно пришьет. Амба. Этот такой!

Он самодовольно прихлебнул из рюмки. Генька, которая глядела на него остановившимися испуганными глазами с таким вниманием, что даже рот у нее открылся и стал влажным, хлопнула себя руками по ляжкам.

– Ах ты, боже ж мой! Какие ужасы! Ну, подумай только, Клотильдочка! И ты не боялся, Ленья?

– Ну вот!.. Стану я всякой рвани бояться.

Восторженное внимание женщин раззудило его, и он стал врать о том, что где-то на Васильевском острове студенты готовили бомбы, и о том, как ему градоначальник поручил арестовать этих злоумышленников. А бомб там было – потом уж это оказалось – двенадцать тысяч штук. Если бы все это взорвалось, так не только что дома этого, а, пожалуй, и пол-Петербурга не осталось бы...

Дальше следовал захватывающий рассказ о необычайном героизме Леньки, который сам переделся студентом, проник в «адскую лабораторию», подал кому-то знак из окна и в один миг обезоружил злодеев. Одного он даже схватил за рукав в тот самый момент, когда тот собирался взорвать кучу бомб.

Генька ахала, ужасалась, шлепала себя по ногам и то и дело обращалась к Клотильде с восклицаниями:

– Ах, ну и что же это такое, господи? Нет, ты подумай только, Клотильдочка, какие подлецы эти студенты. Вот уж я их никогда не уважала.

Наконец, совсем растроганная, очарованная своим любовником, она повисла у него на шее и стала его громко целовать.

– Ленечка, моя дуся! Даже страшно слушать! И как это ты ничего не боишься?

Он самодовольно взвинтил свой левый ус вверх и обронил небрежно:

– Чего же бояться? Раз умирать. За то и деньги получаю.

Клотильду все время мучила ревнивая зависть к подруге, обладавшей таким великолепным любовником. Она смутно подозревала, что в рассказах Леньки много вранья, а между тем у нее было сейчас в руках нечто совсем необыкновенное, чего еще ни у кого не бывало и что сразу заставило бы потускнеть впечатление от Ленькиных подвигов. Она колебалась несколько минут. Какой-то отголосок нежной жалости к Рыбникову еще удерживал ее. Но истерическое стремление блеснуть романтическим случаем взяло верх, и она сказала тихо, глухим голосом:

– А знаешь, Ленья, что я тебе хотела сказать? Вот у меня сегодня странный гость.

– Мм? Думаешь, жулик? – спросил снисходительно Ленька.

Генька обиделась.

– Что-о? Это, по-твоему, жулик? Тоже скажешь! Пьяный офицеришка какой-то.

– Нет, ты не говори, – с деловой важностью перебил ее Ленька, – бывают, которые и жулики офицерами переодеваются. Ну, так что ты хотела сказать, Клотильда?

Тогда она рассказала подробно, обнаружив большую, мелочную, чисто женскую наблюдательность, обо всем, что касалось Рыбникова; о том, как его называли генералом Куроки, об его японском лице, об его странной нежности и страстности, об его бреде и, наконец, о том, как он сказал слово «банзай».

– Слушай, ты не врешь? – спросил быстро Ленька, и в его темных глазах зажглись острые искры.

– Вот ей-богу! Не сойти мне с места! Да ты посмотри в замок – я открою ставню. Ну, вот – две капли воды – японец!

Ленька встал, неторопливо, с серьезным видом, надел сюртук и заботливо ощупал левый внутренний карман.

– Пойдем, – сказал он решительно. – С кем он приехал?

Из всей ночной компании остались только Карюков и Штральман. Но Карюкова не могли добудиться, а Штральман, с оплывшими красными глазами, еще полупьяный, ворчал неразборчиво:

– Какой офицер? Да черт с ним совсем. Подсел он к нам в Буффе, откуда он взялся, никто не знает.

Он тотчас стал одеваться, сердито сопя. Ленька извинился и вышел. Он уже успел разглядеть в дверную щелку лицо Рыбникова, и хотя у него оставались кое-какие сомнения, но он был хорошим патриотом, отличался наглостью и не был лишен воображения. Он решил действовать на свой риск. Через минуту он был уже на крыльце и давал тревожные свистки.

VII

Рыбников внезапно проснулся, точно какой-то властный голос крикнул внутри его: встань! Полтора часа сна совершенно освежили его. Прежде всего он подозрительно уставился на дверь: ему почудилось, что кто-то следит за ним оттуда пристальным взглядом. Потом он оглянулся вокруг. Ставня была полуоткрыта, и оттого в комнате можно было разглядеть всякую мелочь. Женщина сидела напротив кровати у стола, безмолвная и бледная, глядя на него огромными светлыми глазами.

– Что случилось? – спросил Рыбников тревожно. – Послушай, что здесь случилось?

Она не отвечала. Но подбородок у нее задрожал, и зубы застучали друг о друга.

Недоверчивый, жестокий блеск зажегся в глазах офицера. Он весь перегнулся вперед с кровати и наклонил ухо по направлению к двери. Чьи-то многочисленные шаги, очевидно, непривычные к осторожности, приближались по коридору и вдруг затихли у двери.

Рыбников мягким, беззвучным движением спрыгнул с кровати и два раза повернул ключ. Тотчас же в дверь постучали. Женщина с криком опрокинулась головой на стол, закрыв лицо ладонями.

В несколько минут штабс-капитан оделся. В дверь опять постучали. С ним была только фуражка. Шашку и пальто он оставил внизу. Он был бледен, но совершенно спокоен, даже руки у него не дрожали, когда он одевался, и все движения его были отчетливо-неторопливы и ловки. Застегивая последнюю пуговицу сюртука, он подошел к женщине и с такой страшной силой сжал ее руку выше кисти, в запястье, что у нее лицо мгновенно побагровело от крови, хлынувшей в голову.

– Ты! – сказал он тихо, гневным шепотом, не разжимая челюстей. – Если ты шевельнешься, крикнешь, я тебя убью!..

В дверь снова постучали. И глухой голос произнес:

– Господин, соблаговолите, пожалуйста, отворить.

Теперь штабс-капитан не хромал больше. Он быстро и беззвучно подбежал к окну, мягким, кошачьим движением вскочил на подоконник, отворил ставни и одним толчком распахнул рамы. Внизу под ним белел мощеный двор с чахлой травой между камнями и торчали вверх ветви жидких деревьев. Он не колебался ни секунды, но в тот самый момент, когда он, сидя боком на железной облицовке подоконника, опираясь в нее левой рукой и уже свесив вниз одну ногу, готовился сделать всем телом толчок, – женщина с пронзительным криком кинулась к нему и ухватила его за левую руку. Вырываясь, он сделал неловкое движение и вдруг со слабым, точно удивленным криком, неловко, нерасчетливо полетел вниз на камни.

Почти одновременно ветхая дверь упала внутрь в комнату. Первым вбежал, задыхаясь, с оскаленными зубами и горящими глазами Ленька. За ним входили, топоча и придерживая левыми руками шашки, огромные городовые. Увидев открытое окно и женщину, которая, уцепившись за раму, визжала не переставая, Ленька быстро понял все, что здесь произошло. Он был безусловно смелым человеком и потому, не задумываясь, не произнеся ни слова, точно это заранее входило в план его действий, он с разбегу выпрыгнул в окошко.

Он упал в двух шагах от Рыбникова, который лежал на боку неподвижно. Несмотря на то что у Леньки от падения гудело в голове, несмотря на страшную боль, которую он ощущал в животе и пятках, он не потерялся и в один миг тяжело, всем телом навалился на штабс-капитана.

– А-а! Вре-ошь, – хрипел он, тиская свою жертву с бешеным озлоблением.

Штабс-капитан не сопротивлялся. Глаза его горели непримиримой ненавистью, но он был смертельно бледен, и розовая пена пузырьками выступала на краях его губ.

– Не давите меня, – сказал он шепотом, – я сломал себе ногу.